

Константин Леонтьев

О всемирной любви



Константин Леонтьев

О всемирной любви

«Public Domain»

1878

Леонтьев К. Н.

О всемирной любви / К. Н. Леонтьев — «Public Domain», 1878

ISBN 978-5-457-13225-2

"Я нахожу, что речь г. Достоевского... в самом деле должна была произвести потрясающее действие, если только согласиться с оратором, что признание космополитической любви, которое он считает уделом русского народа, есть назначение благое и возвышенное. Но, признаюсь, я многого, очень многого в этой идее постичь не могу. Это всеобщее примирение, даже и в теории, со многим само по себе так непримиримо!.. Во-первых, я постичь не могу, за что можно любить современного европейца..."

ISBN 978-5-457-13225-2

© Леонтьев К. Н., 1878

© Public Domain, 1878

Содержание

I	5
Конец ознакомительного фрагмента.	11
Концевые сноски	

Константин Николаевич Леонтьев

О всемирной любви

Речь Ф. М. Достоевского на Пушкинском празднике

I

Не пора ли уж перестать писать о Пушкине и о всех тех, кто блистал и действовал на его московской тризне? Довольно!.. Общество русское доказало свою «цивилизованную» зрелость, поставило Пушкину дешевый памятник, *по-европейски* убирало его венками, *по-европейски* обедало, *по-европейски* говорило на обедах *спичи*. По обыкновению своему, интеллигенция наша ровно, по этому поводу, ничего не выдумала своеобразного. У подножия монумента великого русского творца не обнаружилось ни одного молодого и оригинального таланта ни в ораторском искусстве, ни в поэзии; говорили речи и стихи, и вообще, действовали тут все люди прежние, с давно определившимися взглядами и давно известные; блистали люди, которых молодость прошла при *прежних условиях*, более сходных с условиями, развившими самого Пушкина. Враждебно ли или сочувственно относятся все эти таланты к *старому порядку* и его остаткам – все равно; *они все обязаны этому поруганному прошлому* как впечатлениями своими (то есть содержанием своих творений), так и умственными силами своими, трудившимися над воспроизведением этого содержания, данного русскою жизнью... *Нового ничего!*.. Ни изобретательности в форме чествования, ни какой бы то ни было ум поражающей свежей мысли, либо вовсе неслыханной, либо давно забытой и просящейся снова в жизнь. Многое из сказанного и написанного по этому поводу было где-то и когда-то, наверное, тоже сказано или написано теми же самыми лицами или иными, и гораздо лучше, и полнее. Один только человек, как слышно, выразился по поводу пушкинского празднества вполне оригинально: это – граф Л. Толстой. Печатали, будто он, отказываясь от участия в этом празднестве, сказал: «Это все одна комедия!»^[1] Я не думаю, чтоб это было так. Отчего ж комедия? Вероятно, многие были искренни в своем желании почтить память Пушкина... И хотя мне очень нравится эта независимость графа Толстого, его капризное пренебрежение к современности нашей, но я не вижу нужды соглашаться с тем, что все это – притворство и комедия. В искренность я готов верить; я желал бы видеть только во всем этом больше национального цвета, побольше остроумия и глубины. Все это, быть может, и очень тепло; но тепло как пар, не замкнутый в какую-либо форму. Тепло, даже горячо, порывисто, но рассеялось скоро и не осталось ничего. Все надежды, все мечты, и мечты вовсе не картинные! Правду сказали в «Вестнике Европы» (я где-то это прочел), что и в том «смирении», которое хотят признать уже довольно давно отличительным признаком славизма, есть много своего рода самохвальства и гордости, ничем еще не оправданных...^[2] Довольно об этом. Больше всего сказанного и продекламированного на празднике меня заставила задуматься речь Ф. М. Достоевского. Положим, и в этой речи значительная часть мыслей не особенно нова и не принадлежит исключительно г. Достоевскому. О русском «смирении, терпении, любви» говорили многие, Тютчев пел об этих добродетелях наших в изящных стихах^[3]. Славянофилы прозой излагали то же самое. О «всеобщем мире» и «гармонии» (опять-таки в смысле *благоденствия*, а не в смысле *поэтической борьбы*) заботились и заботятся, к несчастью, многие и у нас, и на Западе: Виктор Гюго, воспевающий между-

усобия и цареубийства; Гарибальди, составивший себе славу военными подвигами; социалисты, квакеры; по-своему – Прудон, по-своему – Кабе, по-своему – Фурье и Ж. Занд^[4].

В программе издания «Русской мысли»^[5] тоже обещают *царство добра и правды на земле, будто бы* обещанное самим Христом. В собственных сочинениях г. Достоевского давно и с большим чувством и успехом проводится мысль о любви и прощении. Все это не ново; ново же было в речи г. Ф. Достоевского приложение этого полухристианского, полу-утилитарного *всепримирительного стремления к многообразному – чувственному, воинственному, демонически пышному гению Пушкина*^[6]. Но, как бы то ни было, необходимо прежде всего считаться и с именем автора, и с эффектом, произведенным его словами, – тем более что эта не слишком новая мысль о «смирении» и о примирительном назначении славян (составляющем, за неимением пока лучшего, будто бы нашу племенную особенность) распространена в той части нашего общества, которое ни с любовью к Европе не хочет расстаться, ни с последними сухими и отвратительными выводами ее цивилизации покорно помириться не может. До этого, к счастью, еще наше смирение не дошло.

Об этой речи я и хочу поговорить.

Не знаю, что бы я чувствовал, если бы я был *там*. Но издали человек хладнокровнее. Я нахожу, что речь г. Достоевского (напечатанная потом в «Московских ведомостях»^[7]) в самом деле должна была произвести потрясающее действие, если только согласиться с оратором, что признание *космополитической любви*, которое он считает уделом русского народа, есть назначение благое и возвышенное. Но, признаюсь, я многого, очень многого в этой идее постичь не могу. Это всеобщее примирение, даже и в теории, со многим само по себе так *непримиримо!*..

Во-первых, я постичь не могу, за *что* можно *любить современного европейца*...

Во-вторых, любить и любить – разница... Как любить? Есть любовь-*милосердие* и есть любовь-*восхищение*; есть любовь *моральная* и любовь *эстетическая*. Даже и эти два вовсе несхожие *влечения* нужно подразделить весьма основательно на несколько родов. Любовь моральная, то есть искреннее желание блага, сострадание или радость на чужое счастье и т. д. может быть *религиозного происхождения* и происхождения *естественного*, то есть производимая (без всякого влияния религии) большою природною добротою или воспитанная какими-нибудь гуманными убеждениями. Религиозного происхождения нравственная любовь потому уже важнее естественной, что естественная доступна не всякой натуре, а только счастливо в этом отношении одаренной; а до религиозной любви, или милосердия, может дойти и самая черствая душа долгими усилиями аскетической борьбы против эгоизма своего и страстей.

На это можно привести довольно примеров и из нынешней жизни. Но живые примеры и биографические подробности заняли бы здесь много места. Больше я развивать эту тему и подразделять чувства любви или симпатии не буду. Об этом можно написать целую книгу. Я только хотел *напомнить* все это. Остановлюсь на грубом, можно сказать, различии между любовью моральной и любовью эстетической. Мы жалеем человека или он нравится нам – это большая разница, хотя и совмещаться эти два чувства иногда могут. Попробуем приложить оба эти чувства к большинству *современных европейцев*. Что же нам – *жалеть* их или *восхищаться ими*?.. Как их жалеть?! Они так самоуверенны и надменны; у них так много перед нами и перед азиатцами житейских и практических преимуществ. Даже большинство бедных европейских рабочих нашего времени так горды, смелы, так *не смиренны*, так много думают о *своем мнимом* личном достоинстве, что сострадать можно им никак не по первому невольному движению, а разве по холодному размышлению, по натянутому воспоминанию о том, что им в самом деле может быть *в экономическом отношении тяжело*. Или еще можно их жалеть «философски», то есть так, как жалеют людей ограниченных и заблуждающихся. Мне кажется, чтобы почувствовать невольный прилив к сердцу того милосердия, той нрав-

ственной любви, о которой я говорил выше, надо видеть современного¹ европейца в каком-нибудь униженном положении: побежденным, раненым, пленным, – да и то условно. Я принимал участие в Крымской войне как военный врач. И тогда наши офицеры, даже казацкие, не позволяли нижним чинам обращаться дурно с пленными. Сами же начальствующие из нас, как известно, обращались с неприятелями даже слишком любезно – и с англичанами, и с турками, и с французами. Но разница и тут была большая. Перед турками никто блистать не думал. И по отношению к ним действительно во всей чистоте своей являлась русская доброта. Иначе было дело с французами. Эти – сухие фанфароны были тогда победителями и даже в плену были очень развязны, так что по отношению к ним, напротив того, видна была жалкая и презренная сторона русского характера – какое-то желание заявить о своей деликатности, подобострастное и тщеславное желание получить одобрение этой массы самоуверенных куаферов, про которых Герцен так хорошо сказал: «Он был не очень глуп, как большинство французов, и не очень умен, как большинство французов». Все это необходимо отличать, и великая разница *быть ласковым* с побежденным китайским мандарином или с индийским пария – или *расстилаться* пред французским *troupiér*² и английским моряком. По отношению к азиатцам, как идолопоклонникам, так и магометанам, мы действительно являемся в подобных случаях теми добрыми самарянами, которых Христос поставил всем в пример^[8]. Относительно же европейцев эта доброта весьма подозрительного источника, и, признаюсь, я расположен ее презирать. Я вспоминаю нечто о г. Зиссермане^[9]. В одном из своих политических обозрений г. Зиссерман, возмущаясь нашим, действительно, быть может, излишним кокетством с пленными турками (из которых столь многие поступали зверски с болгарами и сербами), ставил нам в пример немцев, которые, набравши в плен такое множество французов, почти не говорили с ними и не хотели с ними вовсе общаться. Немцы прекрасно делали – с этим я согласен. Именно так надо поступать с обыкновенными французами. Милосердие к ним, в случае несчастья, должно быть сдержанное, сухое, как бы обязательное и холодно-христианское. Что касается до турок и других азиатцев, которых преходящая самоуверенность в наше время не может в понимающем человеке возбуждать негодования, а скорее какую-то жалость, то, не доходя, разумеется, до поднесения букетов и тому подобных русских глупостей, конечно, в случае унижения и несчастья, с ними следует быть поласковее. Кстати о букетах. Когда русский мещанин, солдат или мужик ведет пленных турок и, вспоминая о жестокостях, совершенных их соотечественниками, думает про себя: «а может быть, эти турки, которых я вижу, ничего такого не делали, – за что же их оскорблять?» – то я верю в это православное русское добродушие. Я понимаю, что та – сторона учения Христова, которая говорит именно о прощении, то есть о самом высшем проявлении этой нравственной любви, дается русскому народу легче, чем какому-нибудь другому племени. Положим, и к простолюдину русскому можно здесь придраться: у одного – лень, у другого – все слабовато, в том числе и мстительность и гордость не выразительны; третий – сам не знает, что ему нужно делать; у четвертого – равнодушное отношение ко всему, кроме своих личных интересов. Но это уже тонкие психологические оттенки. И распространению христианства служили не одни только высокие побуждения, а всякие, ибо «сила Божия и в немощах наших познается»^[10]. Но когда наш харьковский европеец или калужская французженка любезничают с унылым или угрюмым мусульманином, я впадаю в искушение... Я знаю, этот европейский Петр Иванович или эта французская Агафья Сидоровна делают это не совсем спроста: боюсь до смерти, что у них, хотя полусознательно, но мелькают в уме

¹ Я говорю «современного» в смысле тенденции, рода воспитания и всего того, что составляет так называемый *тип*, а не про всех тех, которые *теперь живут*. И Бисмарк, и папа, и французский благородный легитимист, и какой-нибудь набожный простой баварец или бретонец *тоже теперь* живут, но это остатки прежней, *густой*, так сказать, и *богатой* духом Европы. Я не про таких современников наших говорю, объясняюсь раз навсегда.

² Солдат (*фр.*)

газеты, западное общественное мнение, «вот мы какие милые и цивилизованные!» Тогда как по-настоящему надобно сказать себе: «Какое нам дело до того, что о нас *думает* Европа?» Когда же мы это поймем?!

Итак, говорю я, любовь может быть прежде всего двоякая: *нравственная*, или *сострадательная*, и *эстетическая*, или *художественная*. Нередко, я сказал, они действуют смешанно. В речи г. Достоевского, по поводу Пушкина, эти два чувства – совершенно разнородные и в жизненной практике чрезвычайно легко отделимые – вовсе не различены. А это очень важно. Лермонтов и другие кавказские офицеры, сражаясь против черкесов и убивая их, восхищались ими и даже нередко подражали им. Точно такое же отношение к горцам мы видим и у староверов казаков, описанных гр. Львом Толстым^[11]. Этот же романист представил нам примеры подобных двойственных отношений русского дворянства к французам в эпоху наполеоновских войн^[12]. Черкесы эстетически нравились русским, противникам своим. Русское дворянство времени Александра I восхищалось тогдашними французами, вредя им стратегически (а следовательно, и *лично*) на каждом шагу.

Речь г. Достоевского очень хороша в чтении, но тот, кто *видал самого автора и кто слышал, как он говорит*, тот легко поймет восторг, охвативший слушателей... Ясный, острый ум, вера, смелость речи... Против всего этого трудно устоять сердцу. Но возможно ли сводить целое культурное историческое призвание великого народа на одно *доброе* чувство к *людям* без особых, определенных, в одно и то же время *вещественных* и *мистических*, так сказать, предметов веры, вне и выше этого человечества стоящих, – вот вопрос?

Космополитизм православия имеет такой предмет в живой личности распятого Иисуса. Вера в божественность Распятого при Понтийском Пилате Назарянина, который учил, что на земле все неверно и все неважно, все недолговечно, а действительность и вековечность настанут после гибели земли и всего живущего на ней, – вот та *осязательно-мистическая* точка опоры, на которой вращался и вращается до сих пор исполинский рычаг христианской проповеди. Не полное и повсеместное торжество любви и всеобщей правды на *этой* земле обещают нам Христос и его апостолы, а, напротив того, нечто вроде кажущейся *неудачи* евангельской проповеди на земном шаре, ибо *близость конца* должна совпасть с последними попытками сделать всех хорошими христианами...

«Ибо, когда будут говорить: «мир и безопасность», тогда внезапно постигнет их пагуба... и не избегнут» (1-е поел. к Фессал. гл. 5, 3).

И еще: «Иисус сказал им в ответ: берегитесь, чтобы кто не прельстил вас.

Ибо многие придут *под именем Моим* и будут говорить: «я Христос», и многих прельстят.

Также услышите о *войнах* и о *военных слухах*. Смотрите, не ужасайтесь: *ибо надлежит всему тому быть*; но это еще не конец.

Ибо восстанет народ на народ и царство на царство. и будут глады, моры и землетрясения по местам.

Все же это начало болезней» (Еванг. от Матф. гл. XXIV, 4, 5, 6, 7, 8).

«И, по причине умножения беззакония, во многих охладет любовь.

Претерпевший же до конца спасется. *И проповедано будет сие Евангелие Царствия по всей вселенной, во свидетельство всем народам; и тогда придет конец.*

Итак, когда увидите мерзость запустения, реченную чрез пророка Даниила, стоящую на святом месте, – читающий да разумеет...» (Еванг. от Матф. гл. XXIV, 12, 13, 14, 15).

И так далее.

Даже г. Градовский догадался упомянуть в своем слабом возражении г. Достоевскому о пришествии антихриста и о том, что Христос пророчествовал не *гармонию* всеобщую (мир всеобщий), а всеобщее разрушение^[13]. Я очень обрадовался этому замечанию нашего ученого либерала.

Хотя, видимо, г. Градовский писал это с улыбкой и хотел напоминанием о «светопре- ставлении» уязвить христианство; но это, как ему угодно, указание на эту *существенную сторону христианского учения здесь очень кстати*.

Итак, пророчество всеобщего примирения *людей о Христе* не есть православное про- рочество, а какое-то *общегуманитарное*. Церковь *этого мира* не обещает, а кто «преслушает. Церковь, тебе, тот пусть будет как язычник и мытарь»^[14] (то есть чужд тебе как вредный своим примером человек; конечно, до тех пор, пока он не исправится и не обратится).

Возвратимся к европейцам... Прежде, например, чем полюбить кого-либо из европей- ских либералов и радикалов, надо *бояться* Церкви.

Начало премудрости (то есть настоящей веры) есть *страх*, а любовь – только *плод*. Нельзя считать плод корнем, а корень плодом. Тут даже кстати можно продолжить с успехом именно это уподобление. Правда, плод или часть плода (семя) зарывается в землю так, что оно становится невидимым и *перерождается* в корень и другие части растения. В таком смысле я могу, например, полюбить даже и самого Гамбетту!..^[15] Каким образом? Очень простым. Говорят, что один из самых пылких и, конечно, не робких жирондистов (кажется, Isnard^[16]), спасаясь от гильотины, пробыл несколько дней в каменоломнях и от мучений *страха* стал христианином. Вот если бы Гамбетта, вследствие какого-нибудь подобного потрясения, захотел «облечься во Христа», пошел бы к священнику и сказал: «Отец мой, я понял, что республика – вздор, что свобода – изношенная пошлость, что нация наша, прежде действительно великая, теперь недостойна больше внимания, и сам себе я кажусь так глуп и так низок, что умираю от стыда и тоски, – научите меня... Обратите меня... Я знаю, что христианину необходимо *усилие воли и скромность ума* перед вашим учением... Я согласен принять все, даже и то, что мне противно и с чем отвратительная отупелость моего разума, воспитанного верой в прогресс, согласиться не может. Я в принципе решаюсь всякое сочув- ствие этому смешному, либеральному разуму считать заблуждением, ошибкой, *tentation*...³» и т. д.

Вот в таком случае я понимаю, что можно было бы полюбить Гамбетту всем сердцем и всею душой, «как самого себя», – полюбить его в одно и то же время и нравственно, и эстетически, – полюбить и с умственным восхищением, и с умилением сердечным... Теперь же, каюсь, я, считая себя не менее кого бы то ни было вправе называться русским человеком, при всей доброй воле моей, никак не могу ни умиляться, ни восхищаться, думая об этом энергическом воздухоплателе... А он еще самый крупный и занимательный, кажется, из нынешних граждан *самой европейской* из наций Западной Европы.

Или возьмем пример ближе. Трудно себе представить, чтобы который-нибудь из наших умеренных либералов «озарился светом истины»... Но все-таки представим себе обратный процесс. Вообразить себе, что не страх довел которого-нибудь из них, как Isnard'a, до пре- мудрости, а премудрость довела до страха рядом умозаключений ясных, но *не в духе времени* (с которым «живая» мысль принуждена считаться, но уважать который она вовсе не обязана). Трудно себе это представить, положим. Для того чтобы *в наше время* члену плачевной интел- лигенции нашей стать тем, что зовется вообще «мистиком», – надо иной калибр ума, чем мы видим у подобных профессоров и фельетонистов. Но положим... положим, что либерал дошел премудростью человеческого до страха Божия... Ведь я сказал уже: сила Господня и в немощах наших нередко познается; русские либералы немощны, но Бог силен. Дошли они премудростью до страха и смирились – живут в томлении кроткого прозелитизма, писать вовсе перестали... Как бы они все были тогда привлекательны и милы!.. Сколько уважитель- ного и теплого снисхождения возбуждали бы тогда эти скромные люди!..

³ Соблазн, искушение (*фр.*)

Но теперь их даже *не следует любить*; мириться с ними не должно... Им должно желать добра лишь в том смысле, чтоб они опомнились и изменились, то есть самого *высшего добра*, идеального... А если их поразят несчастья, если они потерпят гонения или какую иную земную кару, то этому роду зла можно даже немного и порадоваться *в надежде на их нравственное исцеление*. Покойный митрополит Филарет находил, что телесное наказание преступников полезно для их духовного настроения, и потому он стоял за телесное наказание⁴{48}.

И сам г. Достоевский почти во всех своих произведениях, исполненных такого искреннего чувства и любви к человечеству, проводит почти ту же мысль, быть может и невольно, руководимый каким-то высоким инстинктом.

Наказанные преступники, убийцы, блудные, продажные и оскорбленные женщины у него так часто являются представителями самого горячего религиозного чувства... Страдания, угрызения совести, страх, лишения и стеснения, вследствие кары земного закона и личных обид, открывают перед умом их иные перспективы... А «без преступлений и наказаний» они пребывали бы наверно в пустой гордости или зверской грубости... Без страданий не будет ни веры, ни на вере в Бога основанной любви к людям; *а главные страдания в жизни причиняют человеку не столько силы природы, сколько другие люди*. Мы нередко видим, например, что больной человек, окруженный любовью и вниманием близких, испытывает самые радостные чувства; но едва ли найдется человек здоровый, который был бы счастлив тем, что его никто знать не хочет... Поэтому и поэзия земной жизни, и условия загробного спасения – одинаково требуют не *сплошной* какой-то любви, которая и невозможна, и не постоянной злобы, а, говоря объективно, некоего *как бы гармонического, ввиду высших целей, сопряжения вражды с любовью*. Чтобы самарянину было кого пожалеть и кому перевязать раны, необходимы же были разбойники^[17]. Разумеется, тут естественно следует вопрос: «Кому же взять на себя роль разбойника, кому же олицетворять зло, если это не похвально?» Церковь отвечает на это *не моральным советом, обращенным к личности*, а одним общеисторическим пророчеством: *Будет зло!*» — говорит Церковь. Она говорит еще: «Званных много, проповедано будет Евангелие везде, но избранных будет мало; только нудящие себя восходят в Царствие Небесное»^[18], — потому что самая добрая, кроткая, великодушная *натура* есть дар *благодати*, дар Божий. Нам принадлежат только: *желание, искание веры, усиление, молитва против маловерия и слабости, отречение и покаяние*.

⁴ Смотри книгу «Государств<енное> учение митр<ополита> Филарета». ВН 1885 года. Между прочим текст: «*Ты побиеши его жезлом, душу же его избавиши от смерти*»^{48}.

{48} *Филарет* (в миру Дроздов Василий Михайлович; 1782–1867) – митрополит московский (1825–1867). Имел большое влияние как на церковные, так и на государственные дела. Здесь цитируется кн.: Государственное учение Филарета, митрополита Московского/Собрал и подготовил В. <В.> Н<азаревский>. М., 1885. С. 92.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.

Концевые сноски

1.

С приглашением участвовать в празднике Пушкина обратился к Толстому Тургенев, но получил отказ (см.: Бирюков П. Биография Л. Н. Толстого. М.; Пг., 1923. Т. 2. С. 179). Фраза Толстого, приведенная Леонтьевым, возможно, была известна ему в устной передаче, но смысл отношения Толстого к данному событию она вполне передает.

2.

См.: ВЕ. 1880. № 7. В заметке, на которую ссылается Леонтьев, было сказано, что «речь г-на Достоевского была построена на фальши – на фальши, крайне приятной только для раздражаемого самолюбия» (с. XXXIII).

3.

Здесь цитируется строка из стихотворения А. С. Пушкина «Отцы пустынные и жены непорочны...» (1836). См. также стихотворение Ф. И. Тютчева «Эти бедные селенья...» (1855).

4.

Леонтьев называет общественных деятелей и мыслителей социалистических убеждений, всех, кто так или иначе был озабочен устройством земной жизни людей, их счастьем: Гюго Виктор Мари (1802–1885) – французский писатель, автор романтических драм «Кромвель» (1827), «Эрнани» (1830) и др.; Гарибальди Джузеппе (1807–1882) – национальный герой Италии; Прудон Пьер Жозеф (1806–1865) – французский социалист-утопист, один из основоположников анархизма; Кабе Этьен (1788–1856) – французский писатель, идеолог утопического «мирного коммунизма»; Фурье Франсуа Мари Шарль (1772–1837) – крупнейший идеолог французского утопического социализма; Санд (Занд) Жорж (наст. имя Аврора Дюпен, по мужу Дюдеван; 1804–1876) – французская писательница, в своем творчестве выступала страстной защитницей свободы личности, женской эмансипации. Ш. Фурье, В. Гюго, Ж. Санд оказали большое влияние на молодого Достоевского.

5.

Научный, литературный и политический журнал (1880–1918), выходил в Москве, в 80-е гг. придерживался славянофильской ориентации.

6.

В связи с этим интересен отклик С. Франка, частично соглашавшегося с Леонтьевым и в то же время полагавшего, что «обратная характеристика Леонтьева по меньшей мере также односторонняя». См.: Франк С. Этюды о Пушкине. Мюнхен, 1957. С. 21.

7.

Моск. ведомости. 1880. 13 июня. № 162.

8.

См.: Лука, 10: 31–37.

9.

Зиссерман Арнольд Львович (1824–1897) – публицист, военный историк. Источник приведенных далее рассуждений Зиссермана не установлен.

10.

Леонтьев перефразирует слова Евангелия: «...сила моя совершается в немощи... ибо когда я немощен, тогда силен» (2 Коринф., 12: 9, 10).

11.

См. такие произведения Л. Н. Толстого, как «Набег» (1853), «Рубка леса» (1855), «Казачьи» (1863).

12.

См., например: Толстой Л. Н. Полн. собр. соч. Т. 11. С. 359–374; Т. 12. С. 194–196.

13.

Отклик А. Д. Градовского на Пушкинскую речь Достоевского под названием «Мечты и действительность» был напечатан в газете «Голос» (1880. 25 июня. № 174).

14.

Матфей, 18: 17.

15.

Гамбетта Леон Мишель (1838–1882) – французский политический и государственный деятель, один из лидеров левых республиканцев эпохи Второй империи, деятель Парижской коммуны.

16.

Иснар Максимен (1751–1825) – участник событий Великой французской революции, жирондист, затем сторонник монархии.

17.

См.: Лука, 10: 31–37.

18.

Здесь контаминация из библейских цитат.

48.

Филарет (в миру Дроздов Василий Михайлович; 1782–1867) – митрополит московский (1825–1867). Имел большое влияние как на церковные, так и на государственные дела. Здесь цитируется кн.: Государственное учение Филарета, митрополита Московского/Собрал и подготовил В. <В.> Н<азаревский>. М., 1885. С. 92.